

Джером К. Джером

**Большая коллекция  
рассказов**



Джером Клапка Джером

**Большая коллекция рассказов**

«Public Domain»

## Джером Д.

Большая коллекция рассказов / Д. Джером — «Public Domain»,

Джером Клапка Джером (1859–1927) — блестящий британский писатель-юморист, автор множества замечательных сатирических произведений, умевший весело и остроумно поведать публике о разнообразных нюансах частной и общественной жизни англичан всех сословий и возрастов. В состав данной книги вошла большая коллекция рассказов Джерома К. Джерома, включающая четыре цикла его юмористических повествований: «Ангел, автор и другие», «Томми и К», «Наброски синим, лиловым и серым», а также «Разговоры за чайным столом и другие рассказы». Курьезные, увлекательные и трогательные истории, вошедшие в состав сборника, появились на свет благодаря отменной наблюдательности и жизнелюбию автора. Тематику рассказов можно назвать всеохватывающей. Они посвящены общественно-политическим вопросам, проблемам культуры и моды, семьи и воспитания, а также творческой, писательской и журналистской деятельности, которую Джером К. Джером превосходно знал изнутри.

## Содержание

РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ	5
РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# ДЖЕРОМ КЛАПКА ДЖЕРОМ БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РАССКАЗОВ

## РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

### РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

– Они очень милы, по крайней мере, некоторые из них, хотя я бы не стала писать таких писем, – сказала светская дама.

– Интересно бы прочесть любовное письмо, написанное вами, – заметил второстепенный поэт.

– Очень любезно с вашей стороны говорить так, – отвечала она. – Мне никогда в голову не приходило, чтобы вам хотелось получить такое письмо.

– Я всегда говорил, что меня, в сущности, не понимают, – возразил поэт.

– Мне кажется, томик искусно подобранных писем мог бы иметь хороший сбыт, – заметила студентка. – Пожалуй, писанных одной рукой, но к различным корреспондентам. Когда пишешь к одному лицу, волей-неволей принужден повторяться.

– Или от различных поклонников к той же особе, – предложил философ. – Было бы интересно, как реагируют различные темпераменты на одно и то же. Это пролило бы свет на темный вопрос: принадлежат ли качества, которыми мы украшаем предмет нашего поклонения, ему в действительности, или мы их ему только приписываем при случае. Написал ли бы одной и той же женщине один: «Моя королева», а другой «Моя милашка», или она для всех влюбленных была бы только сама собой.

– Отчего вам не попытаться составить такой сборник, конечно, выбирая только самые интересные послания? – предложил я светской даме.

– А как вы думаете, это не повлекло бы за собой много неприятностей? – спросила она. – Те, чьих писем я бы не включила в сборник, никогда бы мне не простили. Так всегда бывает, если кого забудешь пригласить на похороны: каждый воображает, что это сделано нарочно, чтобы обидеть его.

– Первое любовное письмо я написал, когда мне было шестнадцать лет, – сказал поэт. – Ее звали Моникой. Она была продавщицей. Никогда мне не приходилось видеть такой совершенной земной красоты. Я написал письмо и запечатал его, но не знал, сунуть ли ей в руку, когда я проходил мимо нее на чтении по четвергам вечером, или подождать до воскресенья.

– Вопросы тут не может быть, – сказала студентка рассеянно, – конечно, лучший момент – при выходе из церкви. Тут все толпятся, и – извините – в руке молитвенник...

– Мне не пришлось решать, – продолжал поэт. – В четверг ее место оказалось занято краснолицей девицей, ответившей на мой вопросительный взгляд идиотским смехом, а в воскресенье я напрасно искал ее по скамейкам. Впоследствии я узнал, что ей внезапно отказали от места в среду, и она уехала домой. Кажется, не я один искал ее. Я оставил письмо, написанное к ней, на своем пюпитре и со временем забыл о нем. Через несколько лет я действительно полюбил и снова принялся за письмо, которое должно было захватить ее, как тонкое невидимое очарование. Я намеревался вплести в него любовь всех веков. Окончив послание, я перечел его и остался доволен. Но тут случайно, в ту минуту, как я собирался запечатать его, я перевернул свой пюпитр, и вместе с другими бумагами на пол упало письмо, писанное

мною семь лет тому назад, когда я был еще мальчиком. Из простого любопытства я распечатал его, думая, что оно меня позабавит. Кончилось тем, что я отправил его вместо только что оконченного. Смысл его был тот же; но чувство было выражено несравненно лучше, гораздо искреннее, с большей художественной простотой.

– В конце концов, что может человек сделать больше, чем сказать женщине, что он ее любит? Все прочее только живописные аксессуары, стоящие наравне с разглагольствованиями в «Полном и точном описании от нашего специального корреспондента», развитом из рейтеровской телеграммы в три строчки.

– Следуя такому взгляду, вы могли бы выразить всю трагедию «Ромео и Джульетты» в двух словах:

Сильно друг друга любили  
И жизнь вместе кончить решили.

– Услыхать, что тебя любят, – это только начало теоремы, так сказать, изложение предварительных условий, – заметила студентка.

– Или эпиграф в начале поэмы, – вторила ей старая дева.

– Интерес в доказательстве: почему он меня любит, – продолжала студентка.

– Я однажды предложила этот вопрос одному человеку, – сказала светская дама. – Он ответил, что это происходит помимо его воли. Мне такой опыт показался ужасно глупым, вроде того, что вам отвечает горничная, когда разобьет, например, ваш любимый чайник. Теперь же мне кажется, что ответ был не глупее всякого другого.

– Более того, – пояснил философ, – это единственное объяснение.

– Хорошо было бы, если бы этот вопрос можно было предлагать людям, не обижая их, – сказал поэт. – Мне так часто хочется задать его. Почему красавицы, богатые наследницы выбирают себе в мужья незаметных мужчин, третирующих их? Почему старые холостяки, вообще говоря, – симпатичные, добросердечные люди, а старые девы, по крайней мере, многие из них, – такие кроткие и милые?

– Может быть, – высказала свое предположение старая дева, – потому что... – Но тут она запнулась.

– Прошу вас, продолжайте, – закончил философ. – Мне так интересно выслушать ваше мнение.

– Нет, я не хотела сказать ничего особенного, – отнекивалась старая дева. – Я забыла...

– Если бы только можно было получать правдивые ответы, сколько света они пролили бы на скрытую половину жизни! – сказал поэт.

– Мне кажется, что любовь более всего прочего выставляется напоказ, – сказал философ. – Она опошляется. Ежегодно тысячи театральных пьес, повестей, поэм и этюдов разрывают занавес храма любви и влекут ее обнаженную на рыночную площадь на позорище скалящей зубы толпы. В миллионе коротких рассказов, то комических, то серьезных, она трактуется более или менее бесцеремонно, более или менее понятно, мимоходом, на лету, с насмешкой. Ей не оставляется ни тени самоуважения. Ее превращают в центральную фигуру всякого фарса, поют о ней и изображают в танцах в каждом мюзик-холле; ее приветствует неистовый крик зрителей с галерок, над ней громко хохочет партер. Это расхожая монета каждого сатирического журнала. Мог бы при подобных угрозах какой угодно божок – будь то сам Мумбо-Джумбо, – не сбежать от своих поклонников? Все ласкательные имена превратились в ходячие выражения, все ласки опошлили на подмостках. При каждом книжном выражении, которое мы произносим, мы сейчас же вспоминаем сто пародий на него. Нет такого положения, которое не было бы заранее испорчено американскими юмористами.

– Не раз мне приходилось присутствовать на пародиях Гамлета, – сказал поэт, – но пьеса продолжает интересоваться меня. Помню я одну свою пешеходную экскурсию по Баварии. Местами по дороге там попадаются распятия, не имеющие в себе ничего особенного. Все они изготовлены механическим способом одной фирмой; но проходящие крестьяне с благоговением преклоняются перед Христом. Можно унижить только то, что действительно достойно презрения.

– Патриотизм – великая добродетель, а джингоисты сделали его смешным, – возразил философ.

– Напротив, они научили нас различать истинное от фальшивого, – сказал поэт. – Так и с любовью. Чем больше она обездушивается, выставляется на посмеище, служит предметом спекуляций, тем менее является желание выказывать ее, – «быть влюбленным в любовь», как выражался про себя Гейне.

– Прирожденна ли нам необходимость любить, – спросила молодая девушка, – или мы научаемся ей, потому что такова мода? Постепенно свыкаемся с нею, подобно тому как мальчик свыкается с привычкой курить, потому что все другие мальчики курят, и мы не хотим стоять особняком?

– Большинство женщин и мужчин не способны любить, – сказал поэт. – У некоторых это чисто животная страсть, у других – тихая привязанность.

– Мы разговариваем о любви, будто это вполне известная величина, – заметил философ. – В конце концов, сказать, что человек полюбил – все равно, будто сказать про него, что он рисует или играет на скрипке: это не дает нам ровно никакого объяснения, пока мы не увидим образцов его таланта. Слыша разговор на тему о любви, можно вынести впечатление, что любовь Данте и какого-нибудь светского молодого человека, Клеопатры и Жорж Санд – совершенно одно и то же.

– Это было предметом вечного огорчения для бедной Сюзанны, – заговорила светская дама; – она никогда не могла убедиться, любит ли ее Джим в действительности. И это очень грустно, так как я убеждена, что он по-своему был привязан к ней. Но он не мог делать многого, что она требовала от него: она была так романтична. Он пытался подладиться под ее тон. Он ходил смотреть все поэтические пьесы и изучал их. Но у него не было такой жилки, и он от природы был неловок. Он влетал в комнату и бросался перед ней на колени, не замечая ее собачки, так что вместо того, чтобы излить свою душу перед Сюзанной, ему приходилось вставать с поспешным: «Ах, извините! Надеюсь, ей не больно, бедняжке». И этого было, конечно, достаточно, чтобы вывести Сюзанну из себя.

– Молодые девушки так неблагоразумны, – заметила старая дева. – Они бегут за тем, что блестит, а золото замечают только тогда, когда уже поздно. Сначала он все – глаза, но сердца нет.

– Я знал девушку, – вступил я в разговор – или, скорее, молодую женщину, которую вылечили от ее безумства гомеопатическим методом. Ее сильно тревожило, что муж перестал ухаживать за нею.

– Это печально, – заметила старая дева. – Иногда вина в том женщины, иногда мужчины, а чаще виноваты оба. Что стоит не забывать маленькие проявления внимания, ласковые слова, – все эти мелочи, имеющие такое значение для любящих и так скрашивающие жизнь?

– В основании всего на свете лежит некоторый здравый смысл, – сказал я. – Секрет жизни в том, чтобы не отклоняться от него ни в ту, ни в другую сторону. Он был самым великолепным женихом, не знавшим счастья, когда ее глаза не смотрели на него; но не прошло и года с их замужества, как она с изумлением увидела, что он может быть счастлив, не сидя рядом с ней, и что он старается понравиться другим женщинам. Он проводил целые вечера у себя в клубе, иногда уходил на одинокую прогулку, по временам запирался у себя в кабинете. Дошло до того,

что однажды он ясно выразил намерение уехать на неделю на рыбалку. Она не жаловалась – по крайней мере, не жаловалась ему в лицо.

– Вот это была с ее стороны глупость, – бросила студентка. – Молчание в таких случаях – ошибка. Противная сторона, не зная, что с вами – когда вы таите про себя свою досаду, – делается с каждым днем неприятнее.

– Она делилась своими горестями с подругой, – объяснил я.

– Как я не люблю людей, поступающих так, – сказала светская дама. – Эмилия ни за что не хотела заговорить с Джорджем. Она приходила ко мне и жаловалась на него, точно я была за него ответственна; а ведь я даже не мать ему. После нее являлся Джордж, и мне приходилось выслушивать все снова, но уже с его точки зрения. Мне все это, наконец, так надоело, что я решила положить конец излияниям.

– И преуспели в своем намерении? – поинтересовалась старая дева.

– Я узнала, что Джордж придет однажды вечером, и попросила Эмилию подождать в зимнем саду, – рассказала светская дама. – Она думала, что я дала ему несколько хороших советов, а я вместо того выразила ему свою симпатию и ободрила его, чтоб он поделился со мной всем, что у него на душе. Он исполнил мое желание, и это так взбесило Эмилию, что она выбежала и высказала все, что думала о нем. Я их потом оставила наедине. Им обоим это пошло впрок, и мне тоже.

– В моем же случае дело кончилось совсем иначе, – сказал я. – Ее подруга рассказала ему, что происходит. Она объяснила ему, как его небрежное отношение и забывчивость постепенно подтачивали привязанность жены к нему. Он стал обсуждать с ней этот вопрос.

«Но влюбленный и муж не одно и то же, – возразил он. – Положение совершенно иное. Вы бежите за человеком, которого хотели поймать, но раз вы догнали его, вы умеряете шаг и идете спокойно с ним, переставши окликать его и махать ему платком».

Их общий друг представлял вопрос с другой стороны.

«Вы должны сохранять то, что получили, – говорила подруга, – иначе оно ускользнет от вас. Известное поведение и манера держать себя заставили милую девушку обратить на вас внимание; являясь иным, чем вы были, как вы можете ожидать, чтобы она сохранила свое мнение о вас?»

– Но вы полагаете, что мне следовало бы и говорить и держать себя, став ее мужем, так же как тогда, когда я был ее женихом?

– Именно так, – отвечала подруга. – Отчего же нет?

– Мне это кажется недоразумением, – проговорил он.

– Попробуйте и посмотрите, что будет, – сказала подруга.

– Хорошо, попытаюсь, – согласился он и, отправившись домой, принялся за дело.

– Что же оказалось, поздно? – спросила старая дева. – Или они опять сошлись?

– В продолжение месяца они проводили вместе целые сутки, – ответил я. – А потом жена намекнула, что ей доставило бы удовольствие провести вечерок вне дома.

Утром, когда она причесывалась, он не отходил от нее; начинал целовать ее волосы и портил ей прическу. За обедом он держал ее руку под столом и настаивал, что он станет кормить ее с вилки. До свадьбы он позволял себе подобную вещь раз или два на пикниках, и впоследствии, когда он, сидя за столом против нее, вскрывал письма, она укоризненно напоминала ему о том. Теперь он целый день не отходил от нее; ей не удавалось приняться за книгу; он начинал читать ей вслух, обыкновенно поэмы Браунинга или переводы из Гете. Он читал вслух плохо, но в те дни, когда он за ней ухаживал, она выразила свое удовольствие на его попытку, и теперь он, в свою очередь, напомнил ей об этом. Он предполагал, что если играть в игру, то и жена должна принимать в ней участие. Если он обязан ликовать, то и она должна отвечать ему радостным блеянием. Он объяснял, что они останутся влюбленными до конца жизни, и она не находила логического довода, чтобы ответить ему. Когда она собиралась писать письмо,



он выхватывал бумагу из-под милой ручки, придерживавшей ее, и, конечно, размазывал чернила. Если он не подавал ей иголок и булавок, поместившись у ее ног, то покачивался, сидя на ручке ее кресла, и порой, не удержавшись, падал на нее. Когда она шла за покупками, он сопровождал ее и играл смешную роль у портнихи. В обществе он не обращал внимания ни на кого, кроме нее, и обижался, если она говорила с кем-нибудь помимо него. Правда, они не часто бывали где-либо в гостях. От большинства приглашений он отказывался и за себя и за нее, напоминая ей, как некогда она считала вечер, проведенный наедине с ним, за лучшее из удовольствий. Он называл ее смешными именами, лепетал с ней по-детски, и раз десять на дню ей приходилось поправлять свою прическу. В конце месяца, как я уже сказал, она сама предложила маленький перерыв в нежностях.

– Будь я на их месте, я бы потребовала развод. Я бы возненавидела его на весь остаток жизни, – вставила слово студентка.

– Только за то, что он постарался сделать вам приятное? – удивился я.

– За то, что он мне доказал, как я была глупа, нуждаясь в его любви, – возразила она.

– Вообще человека легко поставить в смешное положение, поймав его на слове, – изрек философ.

– Особенно женщин, – подтвердил поэт.

– Я спрашиваю себя, действительно ли между мужчинами и женщинами существует такая разница, как мы думаем? – заговорил философ. – Та, которая существует, не представляет ли из себя скорее продукт цивилизации, чем природное свойство? Не выработана ли она воспитанием, а вовсе не инстинктом?

– Отрицая разницу между женщиной и мужчиной, вы лишаете жизнь половины ее поэзии, – заметил поэт.

– Поэзия создана для людей, а не люди для поэзии, – возразил философ. – Мне кажется, разница, о которой вы говорите, представляет из себя «золотое дно» поэтов. Так, например, газеты всегда стоят за войну. Это дает им материал для разглагольствований и на бирже не остается без влияния. Чтобы убедиться в первоначальных намерениях природы, самое надежное – наблюдать наших родственников, то бишь животных. И здесь мы не видим основной разницы – разница только в величине.

– Я согласна с вами, – сказала студентка. – Когда в мужчине проснулась смекалка, то он увидел всю пользу, какую может извлечь, пользуясь превосходством своей грубой силы, чтобы сделать из женщины рабу. В других же отношениях она, без сомнения, стоит выше его.

– По женской логике, равенство полов всегда значит превосходство женщины, – заметил я.

– Это очень любопытно, – сказал философ. – По вашим словам выходит, что женщина никогда не может быть логичной.

– А разве все мужчины логичны? – спросила студентка.

\* \* \*

– Женщину заставляет страдать преувеличение собственной ценности, – сказал философ. – Это кружит ей голову.

– Следовательно, вы признаете, что у нее есть голова? – спросила студентка.

– Я всегда был того мнения, что природа намеревалась снабдить ее этой частью тела, – ответил философ, – только поклонники всегда представляют женщину безмозглой.

– Почему у умной девушки волосы всегда прямые? – спросила светская дама.

– Потому что она не завивает их, – усмехнулась студентка.

– Мне это никогда не приходило в голову, – проговорила светская дама.

– Это надо заметить в связи с тем, что мы мало что слышим о женах умных людей. А когда приходится слышать, как, например, о жене Карлейля, то, кажется, лучше бы и не слышать.

– Когда я был моложе, я много раздумывал о женитьбе. Молодые люди вообще часто думают об этом. «Жена моя, – рассуждал я, – должна быть умной женщиной». Замечательно: из всех женщин, которых я любил, не было ни одной выдающейся по своему уму. Конечно, присутствующие исключаются.

– Почему в самом серьезном для нашей жизни – женитьбе – серьезные соображения совсем не принимаются во внимание? – со вздохом проговорил философ. – Подбородок с ямочкой может – и очень часто – обеспечить девушке лучшего из мужей; между тем как на нравственные достоинства и ум, соединенные в одной личности, нельзя возлагать надежды в смысле приобретения хотя бы плохого супруга.

– Мне кажется, объяснить это можно тем, что в самом естественном вопросе нашей жизни – браке – существенную роль играют наши природные инстинкты. В браке – какими риторическими цветами ни украшайте голый факт – проявляется чисто животная сторона нашего существа: мужчину к нему влекут его примитивные желания; женщину – прирожденное стремление к материнству.

Тонкие белые руки старой девы задрожали на ее коленях.

– Зачем пытаться объяснить все прекрасные вещи в мире? – сказала она, говоря с не свойственным ей оживлением. – Краснеющий юноша, застенчивый, поклоняющийся предмету своего обожания, как какой-нибудь мистический святой; молодая девушка, вся зачарованная мечтами! Они не думают ни о чем, кроме как друг о друге.

– Исследование таинственных истоков горного потока не мешает нам прислушиваться к его журчанью в долине, – объяснил философ. – Скрытые законы нашего бытия питают каждый лист нашей жизни, как сок, протекающий по дереву. Развивающаяся почка и созревший плод – только изменения внешней формы этого сока.

– Я ненавижу добираться до корня вещей, – молвила светская дама. – Покойный папа был просто помешан на этом. Он нам рассказывал о происхождении устриц, когда мы их раскрывали. Мама никогда не могла притронуться к ним после этого. Или за десертом у него с дядей Павлом начинался разговор, какая кровь – бычья или свиная – лучше для удобрения столового винограда? Помню, как за год перед тем, когда Эмма начала выезжать, пал ее любимый пони. Никогда она ни до, ни после ни о чем так не горевала, как о нем. Она спросила папу, не позволит ли он похоронить его в саду. Ей хотелось иногда приходиться поплакать на его могилу. Папа очень мило отнесся к ее желанию и погладил ее руку.

– Что же, милочка, мы его закопаем у новой малиновой гряды.

Как раз в эту минуту к нам подошел старик Пардо, наш главный садовник, и, дотрагиваясь до шляпы, сказал:

– Вот я все хочу спросить мисс Эмму, не положить ли нам бедную лошадку под одним из персиковых деревьев. Они у нас что-то захирели в последнее время.

Он говорил, что это красивое местечко и что он поставит там камень вроде памятника. Эмме в эту минуту было все равно, где они положат ее любимца, и мы предоставили отцу и садовнику обсуждение вопроса. Не помню, на чем решили; знаю только, что ни одна из нас в продолжение двух лет не ела ни малины, ни персиков.

– Всему свое время, – сказал философ. – Читая, как поэт воспеваает румяные щечки своей возлюбленной, мы, так же как и он, не спрашиваем, откуда берется окраска крови и сколько она сохраняется. Тем не менее вопрос интересный.

– Мы, мужчины и женщины, – любимцы природы, – ответил поэт. – Мы – ее надежда. Ради нас она отрешилась от многих из своих убеждений, говоря себе, что они устарели. Она отпустила нас от себя в чужую школу, где смеются над всеми ее понятиями... Мы усвоили новые, странные взгляды, возбуждающие недоумение старушки. Однако когда мы возвраща-

емя домой, интересно отметить, как мы мало отличаемся от тех ее детей, которые не расставались с ней. Запас наших слов выработался и расширился, но лицом к лицу с реальностью существования он остался неизменным. Наши потребности усложнились: обеды с десятью переменами кушаний и всем прочим заменили пригоршню фруктов или орехов, собранных без труда, мясо откормленного быка и масса хлопот для его приготовления – простые вегетарианские обеды, не требующие затраты времени. Но подвинулись ли мы при этом много вперед против нашего маленького брата, который, проглотив сочного червячка *au naturel*, взлетает на первую попавшуюся ветку и, совершая легкое пищеварение, славит в своей песенке Бога? Квадратный кирпичный ящик, где мы движемся, загроможденный деревянной рухлядью, увешанный тряпками и полосами пестрой бумаги, набитый всякой всячиной из плавящего кремня и формованной глины, заступил место дешевой, удобной пещеры. Мы одеваемся кожами других животных, вместо того чтобы позволить нашей собственной коже развиваться в естественную защиту. Мы обвешиваем себя кусками камня и металлов, но подо всем этим остаемся двуногими животными, и вместе с другими боремся за жизнь и кусок хлеба. Мы можем видеть повторение наших трагедий и комедий в каждой травке. Существа в шерсти и перьях – мы сами в миниатюре.

– Да, я знаю; я часто слышу это, – сказала светская дама. – Только это пустяки. Могу доказать вам.

– Это не трудно, – заметил философ. – Пустяки – обратная сторона медали, запутанные концы нити, которую прядет мудрость.

– В нашем колледже была одна мисс Эскью, – сказала студентка. – Она соглашалась со всеми: с Марксом она была социалисткой; с Карлейлем – сторонницей благожелательного деспотизма; со Спинозой – материалисткой; с Ньютоном – фанатичкой. Перед ее выходом из колледжа у меня был продолжительный разговор с ней, и я пыталась уразуметь ее. Она была девушка интересная.

«Мне кажется, – сказала она мне, – я могла бы сделать выбор между ними, если бы они отвечали друг другу. Но они этого не делают. Они не хотят слушать друг друга. Каждый только повторяет то, что касается его одного».

– Ответа никогда не бывает, – объяснил философ. – Зерно каждого искреннего убеждения – истина. В жизни одни только вопросы, а решение их в «ближайшем номере».

– Презабавная была она, – продолжала молодая девушка, – мы, бывало, смеялись над ней.

– И вполне справедливо, – согласился философ.

– Это все равно, что ходить за покупками, – сказала старая дева.

– Ходить за покупками?! – воскликнула студентка.

Старая дева покраснела.

– Да, мне так кажется... Конечно, это звучит странно. Мне пришло в голову такое сходство...

– Вы хотите сказать, что выбор – вообще трудная вещь? – помог я ей.

– Вот именно, – ответила она. – Вам показывают такую массу всевозможных вещей, что вы совершенно теряете всякую способность рассуждать. По крайней мере, со мной это случается. Я начинаю досадовать на себя. Это ужасная бесхарактерность с моей стороны, но ничего не поделаешь. Хотя бы, например, этот костюм, который теперь на мне...

– Очень мил сам по себе, – заметила светская дама. – Я любовалась им, хотя, откровенно говоря, темные цвета больше идут к вам.

– Вы правы, – согласилась старая дева, – я сама его ненавижу. Только, знаете, как это случилось? Я чуть не все утро проходила по магазинам. Устала страшно. И вот...

Она вдруг оборвала себя и извинилась:

– Простите; я прервала разговор.

– Я благодарен вам за то, что вы нам высказали, – сказал философ. – Мне это кажется объяснением.

– Чего? – спросила студентка.

– Того, как многие из нас составили себе образ мыслей. Мы не любим выходить из лавки с пустыми руками, – ответил философ и затем обратился к светской даме:

– Вы хотели объяснить, доказать...

– Что я говорил глупости, – напомнил поэт. – И если вам не неприятно...

– Нисколько, – ответила светская дама, – это очень просто. Дары цивилизации не могут быть таким бессмысленным хламом, каким вы, адвокаты варварства, выставяете их. Я помню, как однажды дядя Павел принес нам обезьянку, вывезенную им из Африки. Из нескольких обрубков мы соорудили нечто вроде дерева для «моей маленькой родственницы», как, предполагаю, вы бы ее назвали. Получилось прекрасное подражание вещи, к которой она и ее предки, вероятно, привыкли в течение тысячелетий; и первые две ночи мартышка спала, сидя на сучьях. На третью ночь проказница выгнала кошку из ее корзины и улеглась на мягкой подушке, а после того знать не хотела дерева, ни настоящего, ни поддельного, для ночлега. Через три месяца, когда мы предлагали ей орехи, она выхватывала их у нас из рук и бросала их нам в голову, предпочитая им пряники и очень сладкий жидкий чай. А когда мы приглашали ее отойти от топившейся плиты в кухне и пробежаться по саду, приходилось тащить ее силой, причем она отчаянно бранилась. Я вполне разделяю мнение мартышки. Я тоже предпочитаю стул, на котором сижу, – «деревянную рухлядь», по вашему выражению – самому удобному обломку старого красного песчаника в наиудобнейше меблированной из пещер; и достаточно вырядилась, чтобы воображать, что гораздо красивее в этом платье, чем мои братья и сестры, первоначально носившие его: они не умели использовать его.

– Вы всегда будете прелестны, что ни наденете, – проговорил я с убеждением, – даже...

– Я знаю, что вы собираетесь сказать, – перебила меня светская дама, – пожалуйста, не договаривайте. Это неприлично, и, кроме того, я не согласна с вами. Вы сказали бы: «Если б у меня была толстая, грубая кожа, вся поросшая волосами, и нечем было бы заменить ее...»

– Я только говорю, что так называемая цивилизация сделала не много для смягчения наших животных инстинктов, – сказал поэт. – Ваши доводы подтверждают мою теорию. Ваши доказательства в пользу цивилизации сводятся только к тому, что она сгущает аппетит мартышки. Для этого не было надобности ходить так далеко за примером. Современный дикарь пренебрегает хрустальной водой источника ради миссионерского джина. Он даже отрекается от своих перьев, которые не лишены живописности, ради безобразного цилиндра. Панталоны из клетчатой материи и шампанское следуют в свою очередь. Где же прогресс? Цивилизация доставляет более удобств нашему телу. С этим я согласен. Но принесла ли она вам что-нибудь существенное в смысл прогресса, до чего мы не дошли бы скорее другими путями.

– Она дала нам искусство, – сказала студентка.

– Когда вы говорите «нам», я предполагаю, что вы имеете в виду одну личность из пяти-сот тысяч, для которой искусство имеет значение не только как пустое имя. Но если даже, миновав бесчисленные толпы, не слыхавшие подобного названия, вы обратите свое внимание на несколько тысяч, рассеянных по Европе и Америке и болтающих о нем, то как вы думаете: многие ли из последней категории действительно находятся под его влиянием; у многих ли оно входит в жизнь, составляет насущную потребность? Посмотрите на физиономии немногочисленных посетителей, добросовестно, несмотря на скуку, осматривающих тысячи наших картинных галерей и художественных музеев, где они с каталогами в руках взирают на разрушенные храмы или соборные башни, пытаясь с самоотвержением мучеников восхищаться старинными мастерами, над которыми про себя они готовы посмеяться, или искалеченными статуями, которые, не будь они предупреждены, они сочли бы за разбитые украшения загородного ресторана. Не больше одного человека из десятка наслаждается тем, на что смотрит, и он

не всегда самый лучший из этого десятка. Нерон был любитель искусства, а в новейшее время Август Смелый Саксонский, «человек греха», по выражению Карлейля, оставил несомненные доказательства, что он был вместе с тем знаток чистой воды. Можно вспомнить имена и еще более современные. Но уверены ли мы, что искусство возвышает?

– Вы говорите только ради того, чтобы говорить, – заметила ему студентка.

– Что также вполне разрешается, – напомнил ей поэт. – Однако этот вопрос стоит обсудить. Приняв даже, что искусство вообще служит человечеству, что оно обладает в действительности хотя одной десятой долей возвышающих душу свойств, широковещательно приписываемых ему, – это я считаю очень щедрым предположением, и тогда влияние его на мир окажется бесконечно малым.

– Оно распространяется сверху вниз, – заметила студентка, – от немногих оно переходит к массе.

– Процесс, по-видимому, идет очень медленно, – ответил поэт. – Мы могли бы достигнуть того же результата скорее, устранив посредника.

– Какого посредника? – спросила студентка.

– Художника, – объяснил поэт, – человека, превратившего искусство в дело торговца, торгующего за прилавком впечатлениями. Что такое, в конце концов, Коро или Тернер в сравнении с прогулкой весною по Шварцвальду или с видом Хэмптстед-парка в ноябрьские сумерки? Если бы мы были менее заняты приобретением «благ цивилизации», добиваясь в продолжение столетий создания мрачных городов и крытых железом ферм, мы бы имели больше времени для того, чтобы полюбить красоту мира. А теперь мы так поглощены заботами о «цивилизации» самих себя, что забыли, что значит жить. Мы похожи на одну старушку, с которой мне однажды пришлось проезжать в одном экипаже через Симплонский туннель.

– Кстати, – заметил я, – в будущем мы будем избавлены от всех неудобств. Новый железнодорожный путь почти окончен. На переезд из Домо д'Орсоло до Брига потребуется не больше двух часов. Говорят, туннель великолепен.

– Будет очень приятно, – со вздохом согласился поэт. – Я уже предвижу будущее, когда благодаря «цивилизации» вовсе не будет существовать путешествий. Нас будут зашивать в мешки и выстреливать нами в любом направлении. В то же время, о котором я говорю, приходилось довольствоваться дорогой, извивавшейся по самым живописным местам Швейцарии. Мне поездка нравилась, но моя спутница не в состоянии была оценить ее. Не потому, чтобы она оставалась равнодушна к пейзажу, – напротив, он, как она объяснила мне, приводил ее в восторг. Но ее багаж отвлекал ее внимание. Его оказалось семнадцать мест, и каждый раз, как старая колымага качалась или кренилась набок, – что повторялось приблизительно через каждые тридцать секунд, – спутница моя с ужасом смотрела, не выскочил ли какой-нибудь чемодан. Полдня проходило у ней в счете и укладке вещей, и единственный вид, интересовавший ее, был вид облака пыли позади нас. Какой-то картонке удалось исчезнуть из виду, и после того моя спутница сидела в обнимку с оставшимися шестнадцатью, которые могла захватить руками, и постоянно вздыхала.

– Я знала одну итальянскую графиню, – сказала светская дама, – она была в школе с мамой. Никогда она не сворачивала и на полмили со своей дороги ради красивого вида.

«Зачем существуют художники? – говорила она. – Если есть что-либо красивое, пусть принесут мне, и я посмотрю».

Она говорила, что предпочитает изображение самой вещи, что последняя в таком виде гораздо художественнее.

«В ландшафте, – жаловалась она, – всегда найдется вдали какая-нибудь труба, или на первом плане ресторан, которые портят весь эффект. Художник их уничтожает. Если необходимо оживить пейзаж, он поставит корову или хорошенькую девушку. Настоящая корова, окажись она тут случайно, стояла бы где-нибудь в неподобающем месте и в неподобающей позе;

девушка непременно оказалась бы толстой и бог весть в какой шляпе. Художник знает, какая тут должна быть девушка, и постарается, чтоб на ней была подходящая шляпа». Графиня говорила, что так всегда оказывается и в жизни.

– К тому все и идет, – ответил поэт. – Природа, – как определил однажды один известный художник, – не поспевает за нашими идеалами. В прогрессивной Германии улучшают водопады и украшают скалы. В Париже разрисовывают детские личики.

– Разве можно винить в этом цивилизацию? – вступилась студентка. – Древние бретонцы умели хорошо подбирать краски.

– Первые слабые шаги человека в искусстве всегда направляются к банке с румянами и краске для волос, – утверждал поэт.

– Какие у вас узкие взгляды! – засмеялась старая дева. – Цивилизация дала нам музыку. Не станете же вы отрицать ее значение для нас?

– Милая леди, – ответил поэт, – вы заговорили именно о той отрасли искусства, до которой цивилизации нет вовсе или очень мало дела – о единственном искусстве, которым природа одарила человека наравне с птицами и насекомыми, о единственном наслаждении, которое мы разделяем со всеми созданиями, исключая только собак; но даже вой собаки, может быть, есть добросовестная, хотя и неудачная, попытка произвести своего рода музыку. У меня был фокстерьер, неизменно подвывавший в тон. Ювал не помог нам, а, напротив, стеснил нас. Он наложил на музыку оковы профессионализма, так что теперь мы уподобляемся дрожащим мальчуганам из лавки, платящим деньги за вход, чтобы посмотреть на игру, в которую они сами не смеют играть. Так и мы сидим молча в своих креслах, слушая исполнителя, которому платим. Музыка должна бы быть всеобщим достоянием. Человеческий голос всегда останется превосходнейшим инструментом из всех, каким мы обладаем. Мы даем ему огрубеть, чтобы он лучше звучал через медные трубы. Музыка могла бы быть выразительницей идеи всего мира; цивилизация превратила ее в язык замкнутого кружка.

– Кстати, – сказала светская дама, – раз разговор зашел о музыке. Слышали вы последнюю симфонию Грига? Она недавно появилась. Я ее разучила.

– Ах, сыграйте! – попросила старая дева. – Я так люблю Грига.

– Что касается меня, то я всегда был того мнения... – начал было я.

– Помолчим, – остановил меня поэт.

\* \* \*

– Я никогда не любила ее, – сказала старая дева. – Я всегда знала, что она бессердечная.

– Мне кажется, что она поступила, как истинная женщина, – парировал поэт.

– Право, вас следовало бы прозвать воскресшим доктором Джонстоном, – сказала светская дама. – Мне кажется, зайди спор о прическе фурий, вы бы стали восхищаться ею. Вам бы, вероятно, показалось, что это естественные кудри.

– У него в жилах течет ирландская кровь, – объяснил я. – Ирландец всегда должен составлять оппозицию правительству.

– Мы должны быть благодарны нашему поэту, – заметил философ. – Что может быть скучнее приятного разговора, то есть такого, где каждый старается сказать другому только приятное. А сказанная неприятность только подзадоривает.

– Может быть, это причина, почему современное общество так скучно. Наложив табу на всякое разногласие, мы отняли у нашего разговора всю пикантность. Религия, пол, политика – всякий предмет, о котором действительно можно подумать, тщательно изгоняется из светских собраний. Разговор превратился в хор или, – как остроумно выразился один писатель, – «в погоню за очевидностью без вывода». Если мы только не заняты сплетнями. То и дело слышно:

«Вполне согласна!.. Совершенно верно... И я того же мнения»... Мы сидим и задаем друг другу загадки: «Что сделал сторонник буров?.. Что сделал Юлий Цезарь?»

– Мода заступила место силы, когда сила отсутствовала в продолжение нескольких столетий, – прибавил философ. – Даже в общественных делах заметна такая же тенденция. В настоящее время невыгодно принадлежать к оппозиции. Главная забота Церкви – достигнуть единогласия со светскими мнениями. Голос пуританской совести с каждым днем слабеет.

– Я думаю, что именно поэтому Эмили никогда не могла ужиться с бедным Джорджем. Он соглашался с ней во всем. И она говорила, что чувствует себя при этом ужасно глупой.

– Человек – животное, созданное для борьбы, – объяснил философ. – Один офицер, принимавший участие в южноафриканской войне, недавно рассказывал мне, как однажды, когда он командовал ротой, пришло известие о появлении в соседстве небольшого неприятельского отряда. Рота тотчас бодро выступила и, после трех дней трудного пути по холмистой местности, встретила с врагом. Оказалось, что это вовсе не враг, а сбившийся с пути отряд императорской полиции. Выражения, которыми рота встретила несчастных соотечественников и братьев по крови, – по словам моего приятеля, оставляли желать лучшего относительно вежливости.

– Я сама возненавидела бы человека, который постоянно соглашался бы со мной, – заявила студентка.

– Сомневаюсь, – возразила светская дама.

– Почему? – спросила студентка.

– Я была о вас лучшего мнения, дорогая, – ответила светская дама.

– Я рад, что вы поддерживаете меня, – сказал поэт. – Я сам всегда смотрел на представителя дьявола, как на самого полезного члена справедливого суда.

– Помню, как мне однажды пришлось быть на обеде, где известный судья встретился с не менее известным адвокатом, клиента которого судья именно в этот день приговорил к повешению. «Всегда чувствуешь удовлетворение, когда осудишь преступника, которого вы защищаете. Чувствуешь полную уверенность, что он был виноват». Адвокат ответил, что он с гордостью будет вспоминать слова судьи.

– Кто это сказал: «Прежде чем нападать на ложь, надо очистить ее от истины»?

– Мне кажется, Эмерсон, – предположил я не вполне уверенно.

– Очень может быть, – согласился философ. – Многие зависят от репутации. Часто цитаты приписывают Шекспиру.

– С неделю тому назад мне пришлось войти в одну гостиную, где хозяйка встретила меня словами: «А мы как раз говорили о вас. Это не ваша статья?» Она указала на номер журнала, лежавший на столе. «Нет, – ответил я, – меня уже спрашивали об этом несколько раз. По моему, статья не серьезная». – «Да, должна согласиться с вами», – сказала хозяйка.

– Что хотите, а я не в силах симпатизировать девушке, заведомо продающей себя за деньги, – сказала старая дева.

– А за что же еще ей продавать себя? – спросил поэт.

– Вовсе не продавать себя, – отрезала старая дева. – Она должна отдаться по любви.

– Не грозит ли нам опасность вступить в спор только из-за игры слов? – ответил поэт. – Вероятно, все из нас слышали рассказ о еврее портном, которого раввин порицал за то, что тот работал за деньги в субботу. «Сшить такой сюртук за девятнадцать шиллингов вы называете работать за деньги?» – ответил портной с негодованием. – «Да ведь это даром!»

Не заключается ли в этой «любви», из-за которой девушка отдает себя, и нечто более осязательное? Не удивилась ли бы несколько «обожаемая», если бы, выйдя замуж по любви, увидела, что «любовь» – единственное, чем ее муж намеревается одарить ее? Не вырвалось ли бы у нее естественное восклицание: «Где же наш дом, хотя бы без мебелировки? Где же мы будем жить?»

– Вот вы теперь играете словами, – заметила старая дева. – Большее заключает в себе меньшее. Любя ее, он, конечно, пожелал бы...

– Ублаготворить ее всеми благами земными, – договорил поэт. – Другими словами, он заплатил бы за нее. Что касается любви – они квиты. В супружестве муж отдается жене так же, как жена отдается мужу. Муж, правда, требовал было для себя большей свободы; но требование всегда отвергалось с негодованием женой. И она выиграла дело. Муж и жена связаны законом общественным и нравственным. При таком положении вещей ее заявление, что она отдает себя, само собой уничтожается. Тут происходит обмен. А между тем женщина одна требует себе награды.

– Скажите: «живые весы уравниваются», – поправил философ. – Лентяйки красуются в юбках, а ленивые глупцы гордо выступают в панталонах. Но есть классы, где женщина делает свою долю работы. В бедных классах она трудится больше своего товарища. Есть такая баллада, которая очень распространена в провинции. Не раз мне приходилось слышать, как ее пел резкий, тонкий голосок за ужином после жатвы или во время танцев:

Мужчина трудится до ночи,  
А женское дело не знает конца.

– Несколько месяцев тому назад ко мне пришла моя экономка с известием об отказе кухарки, – заговорила светская дама. – Я сказала: «Очень жаль. Почему она уходит?» – «Она поступает прислугой». – «Прислугой?!» воскликнула я. – «К старому Хэдзону, на угольной верфи, – ответила экономка. – Его жена, если помните, умерла в прошлом году. У него, бедного, семь человек детей, и за ними некому приглядывать». – «То есть, вы хотите сказать, что она выходить замуж?» – «Ну да, она так говорит, – со смехом отвечала экономка, – а я ей на это сказала, что она бросает дом, где ей было хорошо и она получала пятьдесят фунтов в год, чтобы стать прислугой, не получая ни гроша. Только она ничего не хочет знать».

– Такая внушительная особа, – удивился поэт. – Я помню ее. Позвольте привести еще пример. У вас замечательно хорошенькая горничная, кажется, ее зовут Эдит.

– И я заметил ее, – вставил свое слово философ. – Она меня поразила своими особенными манерами.

– Я не выношу около себя особы с рыжими волосами, – заметила студентка.

– Ее, пожалуй, нельзя назвать рыжей, – возразил философ. – Если взглянуть внимательно, это скорее темно-золотистый оттенок.

– Она очень добрая девушка, – вставила светская дама, – но, боюсь, мне придется расстаться с нею. Другие горничные не уживаются с нею.

– Вы не знаете, у нее есть жених? – спросил поэт.

– В настоящее время она, кажется, ходит на прогулку со старшим сыном «Голубого льва». Но она не прочь пойти и с другими. Если вы серьезно думаете...

– Я не думаю, – сказал поэт. – Но представьте себе, что в числе претендентов явится молодой джентльмен, по личной привлекательности не уступающий «Голубому льву», обладатель дохода в две или три тысячи фунтов в год. Как вы думаете, много шансов останется у «Голубого льва»?

– В высших кругах трудно наблюдать женский характер, – продолжал поэт. – Выбор девушки определяется тем, может ли жених заплатить цену, требуемую если не самой невестой, то тем, кто ее опекает. Но стала бы дочь народа колебаться, при равности во всех других отношениях, между сказочным принцем и простым смертным?

– Позвольте спросить вас, стал бы каменщик колебаться между герцогиней и судомойкой? – спросила студентка.



– Но герцогини не влюбляются в каменщиков, – протестовал поэт. – Однако почему же это так? Маклер ухаживает за буфетной девицей – такие случаи не редкость; часто дело кончается свадьбой. А случается ли даме, делающей свои покупки, влюбиться в магазинного швейцара? Вряд ли. Молодые лорды женятся на балетных танцовщицах, но леди редко приносят свои сердца к ногам первого комика.

Мужественную красоту и достоинство можно найти не в одной только палате лордов. Как вы объясняете довольно обычный факт, что мужчина обращает свой взгляд ниже себя, между тем как женщина почти всегда предпочитает стоящего выше ее по общественному положению и не допускает близости с человеком, стоящим ниже ее? Почему мы находим сказку о короле и нищенке красивой легендой, между тем как история королевы и бродяги показалась бы нам нелепой.

– Самое простое объяснение в том, что женщина настолько выше мужчины, что равновесие может быть достигнуто только, когда его вес увеличивается различными мирскими преимуществами, – объяснила студентка.

– В таком случае, вы соглашаетесь со мной, что женщина права, требуя добавочного веса, – сказал поэт. – Женщина, если хотите, дает свою любовь. Это сокровище искусства, золоченая ваза, бросаемая на весы вместе с фунтом чая, но за чай надо платить.

– Все это очень остроумно, – заметила старая дева, – но я не понимаю, какая польза из того, что в смешном виде будет представлена вещь, про святость которой нам говорит сердце?

– Напрасно вы думаете, что я стараюсь представить вопрос в смешном свете, – оправдывался поэт. – Любовь – чудная статуя, изваянная собственноручно божеством и поставленная им давным-давно в саду жизни. И человек, не зная греха, поклонялся ей, видя ее красоту. До тех пор пока не познал зло. Тогда он увидел, что статуя нагая, и устыдился этого. С тех пор он старался прикрыть ее наготу, по моде то одного, то другого времени. Мы надевали ей на ноги изящные ботинки, сожалея, что у нее так малы ноги. Мы поручали лучшим художникам рисовать замысловатые платья, которые должны скрывать ее формы. С каждым временем года мы украшаем свежим убором ее голову. Мы обвешиваем ее нарядами из сотканых слов. Только ее роскошного бюста мы не можем скрыть, к нашему великому смущению; только он напоминает нам, что под пестрыми тканями все еще сохраняется неизменная статуя, изваянная собственными руками божества.

– Я больше люблю, когда вы говорите так, – сказала старая дева, – но я никогда не бываю вполне уверена в вас. Я хотела только сказать, что деньги не должны стоять на первом плане. Замужество из-за денег – не брак; тут о нем не может быть и речи. Конечно, надо быть благо-разумным...

– То есть, вы хотите сказать, что девушка должна также подумать и об обеде, и о платье, и обо всем необходимом ей, и о своих прихотях.

– Не только о «своих», – ответила старая дева.

– О чьих же? – спросил поэт.

Белые руки старой девы сильно задрожали на коленях, указывая на ее смущение.

– Моя давняя подруга принадлежит еще к старой школе, – заметила хозяйка.

– Надо принять во внимание детей, – объяснил я. – Женщина чувствует это бессознательно, это ее инстинкт.

Старая дева поблагодарила меня улыбкой.

– Вот к чему и я все вел, – сказал поэт. – Природа поручила женщине заботу о детях. Ее обязанность думать о них и их будущем. Если, выходя замуж, она не примет во внимание будущего, она изменяет вверенной ей обязанности.

– Прежде чем вы станете продолжать, надо рассмотреть один важный пункт. Лучше или хуже для детей, если их постоянно опекают? Не бывает ли бедность иногда лучшей школой?

– Вот я повторяю то же самое Джорджу, – заметила светская дама, – когда он ворчит на книжки поставщиков. Если бы папа мог видеть его желание разыгрывать бедняка, я уверена, что была бы лучшей женой.

– Не касайтесь, прошу вас, возможностей, – попросил я светскую даму. – Такая мысль слишком необычайна.

– У вас воображение никогда не было сильно развито, – ответила светская дама.

– Не было развито до такой степени, – согласился я.

– Лучшие матери воспитывают худших детей, – высказала свое мнение студентка. – Этого не следует забывать.

– Ваша мать была чудная женщина, одна из прекраснейших, каких я знала, – заметила старая дева.

– В ваших словах есть доля правды, – сказал поэт, обращаясь к студентке, – но только потому, что тут исключение, а природа употребляет постоянно все свои усилия, чтобы противодействовать отклонениям от ее законов. Где же правило, что дурная мать должна воспитывать хороших детей, а хорошая мать – дурных? И, кроме того...

– Прошу вас прекратить разговор; я вчера легла очень поздно, – сказала светская дама.

– Я только хотел доказать, что все пути ведут к закону, что хорошая мать бывает лучшей матерью. Ее обязанность заботиться о детях, охранять их детство, подумать об их нуждах.

– Вы серьезно хотите заставить нас поверить, что женщина, вышедшая замуж из-за денег, когда-нибудь, хотя на минуту, подумает о чем-либо благе, кроме собственного?

– Может быть, не сознательно, – согласился поэт. – В нас нарочно вселены эгоистичные инстинкты, чтобы мы тем легче руководились ими. Цветок выделяет мед на собственную потребу, вовсе не имея в виду благодетельствовать пчел. Мужчина работает, как он думает, для пива и сладкой еды; в действительности же – на пользу еще не родившихся поколений. Женщина, поступая эгоистично, способствует планам природы. В древности она избирала себе товарища за его силу. Она, очень может быть, думала при этом только о себе; он мог лучше заботиться о ее несложных в то время потребностях, лучше охранять от опасностей кочевой жизни. Но природа, невидимо направляя ее, заботилась о будущем потомстве, нуждавшемся еще больше в сильном защитнике. Теперь богатство заменило собой силу. Богатый человек – сильный человек. Сердце женщины бессознательно стремится к нему.

– Разве мужчины никогда не женятся из-за денег? – спросила студентка. – Я спрашиваю это так, ради интереса. Может быть, я плохо осведомлена, но я слыхала о странах, где приданое считается почти важнее невесты.

– Германские офицеры положительно покупаются с аукциона, – отважился я пошутить. – Молодые поручики ценятся очень дорого, да и пожилой полковник стоит девушке добрую сотню тысяч.

– То есть, вы хотите сказать – стоит ее отцу, – поправил поэт. – Муж с континента требует за своей женой приданое и употребляет все меры получить его. И ему, в свою очередь, приходится всю жизнь экономить и урезать себя, чтобы со временем приготовить необходимое приданое своим дочерям. Выходит совершенно то на то. Ваш аргумент был бы приложим только в случае, если бы женщина была производительницей наравне с мужем. При теперешнем же положении богатство жены есть результат замужества ее собственного или какой-либо из ее прабабушек. А что касается титулованной наследницы, то принцип купли и продажи – простите за употребление расхожего термина – применяется с еще большей последовательностью. Ее редко отдают в чужие страны; крадут – иногда, к великому негодованию лорда канцлера и прочих охранителей подобной собственности. Вора наказывают, если нужно, сажают в тюрьму. Если она передается на законном основании, то ее цена определена в точности, не всегда в деньгах, которых у нее может быть в достаточном количестве. В последнем случае она получает возможность торговаться за другие преимущества, не менее полезные для ее детей, –

за титул, место, положение... Таким же образом женщина доисторическая – сама необыкновенной силы и свирепости – получала возможность думать о красоте своего дикого претендента и его привлекательности в доисторическом смысле, и тем в другом направлении помогала развитию расы.

– Не могу согласиться с вами, – сказала старая дева. – Я знаю один случай. Оба были бедны. Для нее это представлялось безразличным, но для него нет. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, – как говорите и вы, – что наши инстинкты даны нам, чтобы руководить нами. Не знаю... Будущее не в наших руках; оно не принадлежит нам. Может быть, было бы разумнее прислушиваться к голосам, ниспосылаемым нам.

– И я тоже помню один случай, – сказала светская дама. Она встала и, занявшись приготовлением чая, повернулась к нам спиной. – И моя героиня была также бедна; но представляла из себя милейшее создание. Не могу не думать, что мир выиграл бы, если бы она сделалась матерью.

– Вы пришли ко мне на помощь, дорогая леди! – воскликнул поэт.

– Я всегда это делаю по отношению к вам, – со смехом ответила светская дама. – Я, кажется, играю роль мячика, брошенного мальчуганом в высокую яблоню после того, как он весь день напрасно старался влезть на нее.

– Очень любезно с вашей стороны, – сказал поэт. – Мое мнение, что женщина смотрит на замужество как на конец своего существования, а мужчина только как на средство для жизни. Женщина, о которой вы говорите, поступила эгоистично, отказавшись от венца женственности потому, что он был протянут ей не той рукой, которую она избрала.

– Вы желали бы, чтоб мы выходили замуж без любви? – спросила студентка.

– Если возможно, с любовью, – отвечал поэт. – Но лучше без любви, чем совсем не выходить. Это – выполнение женщиной ее долга.

– Вы желали бы приравнять нас к товарам и скоту! – воскликнула студентка.

– Это сделало бы из вас то, что вы есть, – возразил ей поэт, – то есть жриц в храме Природы, ведущих мужчину к поклонению перед ее тайнами. Один американский юморист определил брак как стремление молодого человека платить за содержание какой-либо молодой женщине. От этого определения не уйдешь; признаем же его. Оно прекрасно в том, что касается молодого человека. Он жертвует собою, налагает на себя лишения, чтобы давать. Это любовь. Но с точки зрения женщины? Если она соглашается, имея в виду только заботу о себе, то с ее стороны это презренная сделка. Чтобы понять ее, быть к ней справедливыми, мы должны заглянуть глубже. Ее царство – материнская любовь. Она отдается не мужу, но через него великой богине, охраняющей своим крылом жизнь от протянутой руки смерти.

– Может быть, такая девушка и привлекательна с точки зрения Природы, но я никогда не полюблю ее, – сказала старая дева.

\* \* \*

– Который час? – спросила студентка.

Я взглянул на часы и ответил:

– Двадцать минут пятого.

– Ровно двадцать минут? – переспросила она.

– Ровно, – подтвердил я.

– Странно, – проговорила она. – Объяснить это нельзя, а между тем всегда так бывает...

– Чего нельзя объяснить? – спросил я. – Что странно?

– Это немецкое поверье, – объяснила студентка. – Я узнала его в школе. Когда в обществе вдруг водворяется полная тишина, непременно двадцать минут какого-либо часа...

– Почему мы говорим так много? – спросил поэт.

– Мне кажется, что мы – по крайней мере, мы лично вовсе не говорим слишком много, – сказала светская дама. – Большую часть времени мы, по-видимому, слушаем вас.

– В таком случае внесем изменение: «Почему я говорю так много?» – продолжал поэт. – Если бы я говорил меньше, одному из вас пришлось бы говорить больше.

– Кто-нибудь бы воспользовался, – заметил философ.

– Вероятно, вы, – возразил ему поэт. – Но выиграло ли бы или проиграло от того наше приятное общество – об этом я не намерен рассуждать, хотя и имею свое мнение по этому вопросу. Сущность остается: поток разговора не должен останавливаться в своем течении. Почему это?

– Есть у меня один знакомый, – заговорил я. – Может быть, вы его встречали, его фамилия Лонгрёш. Вообще он человек не скучный. Скучно только слушать его. Этот человек, по-видимому, не обращает внимания на то, слушаете вы его или нет. Он не глуп. Но дурак может быть иногда забавен; Лонгрёш же – никогда. Он подхватывает всякий сюжет для разговора, и о чем бы ни заговорили, у него найдется что-нибудь крайне неинтересное, чтобы сообщить по этому поводу. Он говорит, как заведенная шарманка, без перерыва, без умолку. С той минуты, как он встанет или сядет, он заводит свою шарманку и не умолкает, пока кэб или омнибус не отвезут его на следующее место остановки.

Что касается сюжетов его разговора, то он меняет свои валики раз в месяц, согласно настроению публики. В январе он повторяет вам шутки Дон Лено, или чужое мнение о старинных мастерах в Гилдхолле. В июне он распространяется о том, как вообще смотрят на Академию, и сходится с большинством во взглядах на оперу. Забывая на минуту – что извинительно для англичанина – стоит ли у нас лето или зима, мы можем проверить себя по тому, чем увлекается Лонгрёш – крокетом или футболом. Он всегда современен. Случится ли новая постановка Шекспира или какой-нибудь скандал, появится ли минутная знаменитость, нашумит ли какое-нибудь событие – к вечеру у Лонгрёша валик уже готов. В начале моей карьеры журналиста мне каждый день приходилось писать по столбцу для провинциальной газеты, под рубрикой «Что говорят». Редактор дал свои подробные инструкции:

– Ваших мнений мне не нужно; в вашем остроумии я не нуждаюсь; мне нет дела, находите ли вы вещь интересной или нет. Я хочу, чтобы действительно сообщалось, что говорят.

Я старался добросовестно исполнить свою задачу. Каждый абзац начинался со «что». Я писал свой столбец потому, что хотел заработать тридцать шиллингов. Почему мои статьи читались, я и до сих пор не понимаю; но, кажется, они отчасти приобрели популярность газет. Лонгрёш всегда воскрешает в моей памяти те тяжелые часы, которые я посвящал этой скучной работе.

– Мне кажется, я знаю человека, про которого вы говорите, – сказал философ. – Я только забыл его фамилию.

– Может быть, вы и встречали его, – ответил я. – Вот на днях кузина Эдит давала обед и, как всегда, сделала мне честь спросить моего совета. Вообще я теперь не даю советов. В ранней молодости я был на них щедр. Потом я пришел к убеждению, что достаточно с меня ответственности за собственные промахи и ошибки. Однако я сделал исключение для Эдит, зная, что она никогда не последует моему указанию.

– Кстати о редакторах, – сказал философ. – На днях Бэте говорил мне в клубе, что он бросил лично писать «ответы корреспондентам» после того, как открыл, что некоторое время корреспондировал на интересную тему «об обязанностях отца» с собственной женой, которая по временам бывает юмористкой.

– Моя мать рассказывала мне о жене священника, списывавшей все проповеди своего мужа, – сказала светская дама. – Она читала ему места из них, улегшись в постель, вместо супружеского наставления. Она говорила, что это избавляет ее от труда придумывать. Все, что она желала бы сказать ему, он уже сказал сам и с гораздо большей силой.

– Мне всегда кажется слабым довод, что только совершенный человек может наставлять, – сказал философ. – Если бы было так, наши кафедры пустовали бы. Разве меньший мир вливает в мою душу псалом или меньшую мудрость я черпаю из притчей потому, что Давид и Соломон не были достойными вместилищами алмазов, которыми Господь одарил их? Разве проповедник трезвости теряет право цитировать самоупреки бедняги Кассио только потому, что Шекспир был джентльменом – увы! – очень пристрастным к бутылочке? Барабанщик сам может быть трусом. Для нас важен барабан, а не барабанщик.

– Из всех моих знакомых у Джейн Мередит больше всего хлопот с прислугой, – сказала светская дама.

– Очень жаль, – заметил философ, помолчав. – Но, извините, я, право, не понимаю...

– Простите, – ответила светская женщина. – Я думала, что все знают Джейн Мередит. Она ведет отдел «Образцовое хозяйство» в «Женском мире».

– По-видимому, всегда останется загадкой, кто действительно автор «Простой жизни» – четырнадцатое издание, цена три шиллинга шесть пенсов без пересылки...

– О, прошу вас... – начала старая дева с улыбкой.

– О чем просите? – спросил поэт.

– Прошу вас, не поднимайте на смех этой книги, если бы даже она оказалась вашей собственной. Некоторые страницы из нее я знаю наизусть. Я их читаю про себя, когда... Не портите мое впечатление, – сказала старая дева, смеясь, но смех ее звучал нервно.

– Не бойтесь, дорогая леди, – успокоил ее поэт. – Никто не относится к поэме с большим уважением, чем я. Вы даже представить себе не можете, какое утешение эта книга для меня. И я также читаю отрывки из нее про себя, когда... Мы понимаем друг друга. Как человек, отворачивающийся от сует насилия, чтобы мирно упиваться светом луны, так и я прибегаю к поэме, ища успокоения и умиротворения. Так, восхищаясь поэмой, я, естественно, испытываю желание и любопытство встретиться с автором, познакомиться с ним. Я бы с восторгом отвел его в сторону от толпы, схватил бы его за руку и сказал ему: «Дорогой, дорогой поэт, я так рад, что пришлось встретиться с вами! Я желал бы выразить вам, каким утешением было для меня ваше произведение. Действительно, на мою долю сегодня выпало счастье...» Но я могу представить себе тот усталый и недовольный вид, с каким он встретил бы мои излияния. Воображаю себе, с каким презрением он взглянул бы, если б знал меня. У него желчь разлилась бы, как в жаркий день.

– Я где-то читал коротенький французский рассказ, который остался у меня в памяти, – сказал я.

Поэт или драматург – уж теперь не помню – женился на дочери провинциального нотариуса. В ней не было ничего особенно привлекательного, кроме ее приданого. Он прожил собственное небольшое состояние и находился в стесненных обстоятельствах. Она преклонялась перед ним и была идеальной женой для поэта. Она великолепно стряпала, – что оказалось весьма полезным искусством в первые пять-шесть лет их замужества, – а впоследствии, когда он разбогател, в совершенстве вела его дела, своими заботами и экономией не допуская мирских хлопот до дверей его кабинета. Без сомнения, идеальная Hausfrau, но, конечно, не подруга для поэта. Так каждый шел своим путем, пока добрая леди не умерла, избрав, как всегда, подходящую минуту: когда без нее лучше всего можно было обойтись.

И вот тут-то, правда, немного поздно, начинается самая интересная часть истории.

Жена постоянно настаивала на сохранении одного предмета мебели, не подходившего к общему стилю их богатого отеля: тяжелого, неуклюжего дубового бюро, некогда стоявшего в конторе ее отца и подаренного им ей давно в день ее рождения.

Прочтите сами этот рассказ, если хотите постигнуть нежную грусть, которой он проникнут, тонкий аромат сожаления, распространяемый им.

Муж, найдя не без затруднения подходящий ключ, вставил его в замок бюро. Эта простая, крепкая угловатая мебель постоянно возмущала его артистическое чувство. И она, его добрая Сарра, была проста и немного угловата. Может быть, именно потому бедняжка так любила единственную вещь, казавшуюся не у места в доме, представлявшем из себя совершенство. Ну, теперь ее, доброго существа, уж нет! А бюро – бюро все еще стоит на своем месте. Никому нет надобности заглядывать в эту комнату, куда никто и не заходил, кроме жены. Может быть, она вовсе не была так счастлива, как могла бы быть? Может быть, муж менее интеллигентный, от которого она не жила бы такой обособленной жизнью, который входил бы в интерес ее простого повседневного существования, создал бы ее счастье и сам был бы счастливее.

Так вот, муж поднял крышку, выдвинул большой ящик. Он оказался полным рукописей, аккуратно сложенных и перевязанных прежде яркими, теперь выцветшими, лентами. Сначала он подумал, что это его собственное писание: начатые, разрозненные вещи, заботливо собранные ею. Она так много думала о нем, добрая душа! Право, она, может быть, вовсе не была такой скучной, как он полагал. По крайней мере, она имела способность оценить его. Он развязал ленточку. Нет! Бумаги оказались писаны ее рукой, с поправками, с изменениями, с подчеркнутыми строчками.

Он развязал вторую, третью пачку. Затем, улыбаясь, начал читать. Каковы могли быть эти стихи, эти рассказы?

Он был смущен, разглядывая сложенную бумагу, предвидя всю заурядность, всю мелочность чувства. Бедняжка! И она пожелала быть писательницей. И у нее были стремления, мечты.

Солнечный свет медленно прополз по всему потолку комнаты, тихо скользнул в окно и оставил его одного. Все эти годы он жил рядом с собратом, с поэтом! Им следовало бы быть товарищами, а они даже не разговаривали. Почему она таилась? Почему ушла от него, не открывшись? Много лет тому назад, когда они только что поженились, – он это вспомнил теперь, – она как-то сунула ему в карман, смеясь и краснея, несколько синих тетрадок и попросила прочесть их. Как мог он догадаться? Конечно, он забыл о них. Потом они снова исчезли; он о них и не вспомнил.

Часто, в начале их совместной жизни, она заговаривала с ним о его работах. Если б он только заглянул ей в глаза, он бы, может быть, понял.

Но она казалась всегда такой доброй простушкой. Кто бы мог подозревать? Вдруг кровь бросилась ему в лицо. Какое она должна была составить себе мнение о его работе?

Все эти годы он воображал ее себе безгранично преданной, не понимающей, но восхищенной. Он иногда прочитывал ей кое-что, причем всегда сравнивал себя в душе с Мольером, читающим своей кухарке. Какое она имела право сыграть с ним такую шутку?

А жаль! Как бы он был рад, если бы она была теперь возле него!

\* \* \*

– Я думаю: куда деваются мысли, не высказанные нами? Мы знаем, что в природе ничто не пропадает бесследно; даже капуста бессмертна, продолжая жить в измененном виде, – изрек философ. – Сказанную или написанную мысль мы можем проследить; но такие мысли должны составлять лишь слабый процент. У меня часто является этот вопрос, когда я иду по улице. У каждого мужчины или женщины, с которыми мы встречаемся, в голове сплетаются шелковые нити мыслей, длинных или коротеньких, изящных или грубых. Во что они превращаются?

– Я однажды слышал, как вы сказали, что мысли – в воздухе, – заметила старая дева поэту, – что поэту только остается собирать их, как ребенок собирает цветы, растущие по краям дороги, и делает из них букеты...

– Это я сказал вам по секрету, – ответил поэт. – Пожалуйста, не распространяйте дальше, иначе мои издатели воспользуются этим, чтобы низвести меня с пьедестала.

– Эти слова остались у меня навсегда в памяти, – продолжала старая Дева. – В них столько правды. Мысль приходит нам вдруг. Мне иногда мысли кажутся детьми, не имеющими матерей и ищущими приюта в нашем мире.

– Недурная идея, – задумчиво проговорил поэт. – Мне они теперь будут мерещиться в сумерки в виде круглолицых фигурок, как бы сошедших с гобеленов, слабо светящихся в темнеющем воздухе!.. Откуда ты, нежная мысль, стучающаяся в моем мозгу? Из далекого леса, где мать-крестьянка напевает над колыбелью? Или ты мысль о любви и страстном томлении, рожденная где-нибудь под тропическим солнцем? Мысль о жизни и мысль о смерти, не зародились ли вы в мозгу какой-либо девушки-патрицианки, медленно прохаживающейся по волшебному саду? Или вы явились в свет в тусклой тяжелой атмосфере фабрики? Бедные, безымянные, бесприютные! В будущем я буду чувствовать себя чуть не филантропом, принимая их, усыновляя.

– Вы ведь еще не решили, кто вы, в сущности: джентльмен, которого мы приобретаем за шесть пенсов, без пересылки, или близкий нам, кого мы получаем даром? – напомнила ему светская дама. – Пожалуйста, не думайте, что я имею в виду какое-либо сравнение, но вопрос интересует меня с тех пор, как Джордж поступил в клуб богемы и взял за правило с субботы по понедельник поставлять сюда начинающих знаменитостей. Я, кажется, не отличаюсь узостью взглядов, но тут оказался один господин, которого мне пришлось держать под своим башмаком...

– На что он, вероятно, не жаловался, – прервал я. – У светской женщины прелестнейшая из ножек.

– Она тяжелее, чем вы думаете, – ответила светская дама. – Джордж уверяет, что мне следовало бы обойтись с ним как с истинным поэтом. Но я не согласна с подобным взглядом. Я от всей души восхищаюсь им как поэтом. Я люблю томик его стихов. Он лежит в белом кожаном переплете у меня в гостиной и придает тон комнате. За книгу поэта я готова заплатить требуемые четыре шиллинга шесть пенсов; но самого его во плоти мне не нужно. Говоря мягко, сам он не стоит цены, которую дают за его стихи.

– Не особенно любезно с вашей стороны применять такую меру только к поэтам. Несколько лет тому назад один из моих приятелей женился на прелестнейшей женщине Нью-Йорка, а это уж много значит. Все поздравляли его, и, судя по наружности, он был сам доволен. Через два года мы встретились с ним в Женеве и поехали в Рим вместе. В продолжение дороги он и его жена едва обменялись несколькими словами, а перед прощаньем он был настолько мил, что дал мне совет, который кому-нибудь другому мог бы принести пользу. «Никогда не женитесь на прелестной женщине, – сказал он мне. – Не может быть ничего скучнее прелестной женщины... Когда ею не любишься...»

– Мне кажется, мы должны смотреть на проповедника, как на собрата-артиста, – сказал философ. – Певец может быть мясистым толстяком, любителем пива, но голос его захватывает нашу душу. Проповедник поднимает высоко свое знамя чистоты. Он машет им над своею головой и над головами окружающих. Он не зовет с Господом: «Идите ко мне», но: «Идите со мной и спасетесь». Молитва «Прости им!» была молитвой не священника, но Бога. Молитва, предписанная ученикам, была: «Прости нас. Избави нас». Проповедник не мужественнее, не сильнее тех, кто толпится за ним, нуждаясь в руководителе; он только знает дорогу. И он может ослабеть и упасть на пути, но он один не имеет права бежать.

– С одной стороны, вполне понятно, – заметил поэт, – что те, кто дают больше всего другим, сами должны быть слабы. Профессиональный атлет служит, как мне кажется, вознаграждением за всеобщую слабость. На мой взгляд, прелестные, очаровательные люди, с которыми нам приходится встречаться в обществе, – люди, нечестно присвоившие себе дары, вве-

ренные им природой на благо всех. Ваш добросовестный, работающий юморист в частной жизни – угрюмый пес. С другой стороны, нечестно пользующийся смехом крадет у света остроумие, данное ему для общественного пользования, и становится блестящим собеседником.

– Но, – обратился поэт ко мне, – вы начали говорить о некоем Лонгрёше, великом любителе разговоров.

– Любители разглагольствовать, – поправил я.

– Моя кузина отметила его недавно в своем длинном списке приглашенных: «Лонгрёш». Нам необходимо пригласить Лонгрёша.

– Не будет ли это слишком утомительно для других? – спросил я.

– Да, правда, он утомителен, – согласилась она, – но так полезен. Он никогда не даст разговору зачахнуть.

– Почему это? – спросил поэт. – Почему, как только мы сойдемся, сейчас начинаем щебетать, как стая воробьев? Почему, чтобы вечер считался удачным, на нем должен стоять содом, как в клетке попугаев в зоологическом саду?

– Я помню историю о попугае, но забыл, кто мне ее рассказывал.

– Может быть, кто-нибудь из нас припомнит, когда вы начнете, – высказал свое предположение философ.

– Один человек, – начал я, – старый фермер (я это помню) начитался историй о попугаях или наслушался их в клубе. В результате ему показалось, что хорошо бы самому иметь попугая. Вот он отправился к торговцу и, как сам рассказывал, заплатил порядочную цену за выбранную им птицу. Неделию спустя он вернулся в лавку, а сзади мальчик нес клетку с попугаем. «Птица, которую вы продали мне на прошлой неделе, не стоит и совершенна». – «Что с ней случилось?» – спросил купец. «Да я почему знаю, что случилось? – ответил фермер. – Говорю вам, она не стоит не только совершенна, но и полсовершенна». – «Почему? – добивался купец. – Ведь она говорит хорошо?» – «Говорит? – ответил негодующий фермер, – проклятая птица болтает весь день, да хоть бы раз сказала что-нибудь забавное».

– У одного моего знакомого был однажды попугай... – начал было философ.

– Не пройти ли нам в сад? – предложила светская дама, вставая и направляясь к двери.

– Я сам читаю эту книгу с величайшим удовольствием, – сказал поэт. – Она наводит на такую массу мыслей. Боюсь, что я не прочел ее достаточно внимательно. Надо перечитать.

– Понимаю вас, – сказал философ. – Книга, действительно интересующая нас, заставляет забыть, что мы читаем. Самый интересный разговор тот, при котором кажется, будто никто не говорит.

– Помните вы того русского, которого Джордж приводил сюда месяца три тому назад? – спросила светская дама, обращаясь к поэту. – Я забыла его фамилию. Впрочем, я никогда путем не знала ее. Это было что-то неудобопроизносимое; только, помню, фамилия оканчивалась, как всегда, на двойное «г». Я прямо в самом начале объявила ему, что стану звать его просто по имени, оказавшимся, к счастью, Николаем. Он очень любезно согласился.

– Я хорошо помню его, – заявил поэт. – Прелестный человек.

– Он, в свою очередь, остался в таком же восторге от вас, – ответила хозяйка.

– Охотно верю, – проговорил вполголоса поэт. – Такого умного человека редко встретишь.

– Вы целых два часа проговорили, забившись в угол, – сказала светская дама, – а когда вы ушли, я спросила его, чему он научился у вас. Он ответил мне с жестом восторга: «Ах, как он хорошо говорит!» Я же настаивала: «Что же он рассказал вам?» Мне было интересно узнать: вы были так поглощены друг другом, что забыли о существовании остальных. «Честное слово, не могу сказать, – ответил он. – Знаете, теперь, как припоминаю, приходится с ужасом сознавать, что разговор, собственно, вел я один». Я была довольна, что могла успокоить его на этот счет. «Нет, напрасно вы так думаете, – сказала я. – Я бы поверила вам, если бы не присутствовала».



– Вы были совершенно правы, – согласился поэт. – Я помню, что и я вставил два или три замечания. И мне кажется, я действительно говорил недурно.

– Но вы тоже, может быть, помните, что в следующий раз, когда вы были у меня, я спросила вас, что он говорил, и оказалось, что ваша память в этом отношении представляет из себя чистую страницу. Вы сказали, что нашли его интересным. В то время я была поражена, но теперь начинаю понимать. Вы оба, очевидно, находя разговор таким блестящим, приписывали заслугу того себе лично.

– Хорошая книга и милый разговор похожи на приятный обед: они легко усваиваются. Лучший обед тот, съев который, вы не сознаете, что пообедали.

– Вещь сама по себе не интересная часто вызывает интересные мысли, – заметила старая дева. – Часто я чувствую, как у меня на глазах выступают слезы, когда смотрю какую-нибудь глупую мелодраму. Сказанное слово, намек вызывают воспоминания, заставляют мысль работать.

– Несколько лет тому назад мне пришлось сидеть в глубине залы какого-то мюзик-холла рядом с деревенским жителем. До половины одиннадцатого он казался очень доволен всем, что видел и слышал, и добросовестно подпевал всем куплетам о тещах, деревянных ногах, подвыпивших женщинах и т. п. В половине одиннадцатого на сцену вышел известный исполнитель и начал ряд куплетов, названных им: «Сгущенные трагедии». На первые две вещи мой сельский приятель весело посмеивался. Когда же певец приступил к третьей, начинавшейся: «Мальчик, коньки, лед ломается; опасность неминуема...» – мой сосед побледнел, поспешно встал и быстро вышел из залы. Я последовал за ним десять минут спустя и нашел его в баре напротив, где он напивался виски. «Не мог я вынести этого дурака, – заявил он мне хриплым голосом. – У меня мальчуган утонул прошлой зимой, катаясь на коньках. Не понимаю, какой смысл поднимать на смех настоящее горе».

– Я могу присоединить к вашему рассказу еще один, – сказал философ. – Джим забронировал для меня несколько мест на одно из своих первых представлений. Билеты попали ко мне только в четыре часа пополудни. Я отправился в клуб, чтоб захватить кого-нибудь. Единственный человек, которого я застал там, был тихий молодой человек, новый член клуба. У него еще было мало знакомых, и он поблагодарил меня. Играли какой-то фарс, уж право, не помню какой: они все на один лад, – весь комизм в том, что кто-то старается согрешить, не имея к тому расположения. Такие вещи всегда имеют успех. Английская публика подобные сюжеты любит, лишь бы они трактовались с веселой точки зрения. Нам не нравится только, когда о зле рассуждают серьезно. Тут было обычное подсматривание, обычный визг. Все кругом хохотали. Мой сосед сидел с какой-то неподвижной улыбкой на лице.

«Недурно сделано», – обратился я к нему, когда занавес опустился после второго действия при общем хохоте.

«Да, кажется, очень смешно», – ответил он.

Я взглянул на него – он был почти юноша.

«Вы еще слишком молоды, чтоб быть моралистом». Он засмеялся коротким смехом. «Со временем это пройдет», – ответил он мне.

Впоследствии он рассказал мне свою историю. Он сам был комическим актером в Мельбурне, – он был австралиец. Только для него третий акт имел иную развязку. Его жена, которую он любил, отнеслась к жизни серьезно и кончила самоубийством. Сделала такую глупость.

– Мужчины – животные, – заявила тут студентка, иной раз любившая употребить крепкое слово.

– Я сама думала так в молодости, – сказала светская дама.

– А теперь не думаете, когда слышите подобную вещь? – спросила студентка.

– Без сомнения, в человеке много животного, – отвечала хозяйка. – Но... видите ли, много лет тому назад, когда я была еще очень молода, я высказала это самое мнение, то есть

что мужчина – животное, одной старой леди, у которой жила в Брюсселе, где проводила зиму. Она была хорошей знакомой отца, одной из добрейших и милейших женщин в свете – можно сказать, близкой к совершенству, – хотя о ней как о знаменитой красавице времен королевы Виктории и ходило много рассказов.

Я лично никогда им не верила. Когда я впервые увидела Магтергорн в летний вечер, он мне напомнил ее доброе, бесстрастное, спокойное лицо, обрамленное серебряными волосами. Я сама не знаю, почему.

– Дорогая моя, – со смехом заметила старая дева, – ваша привычка украшать свою речь анекдотами придает ей сходство с синемаатографом.

– Я и сама замечаю это, – соглашалась светская дама. – Я стараюсь захватить слишком много.

– Искусство хорошего рассказчика состоит в том, чтобы уметь избегать несущественного, – заметил философ. – У меня есть знакомая, ни разу, насколько я знаю, не добравшаяся до конца рассказа. Совершенно безразлично, например, как звали человека, сказавшего или сделавшего что-нибудь, – Брауном, или Джонсом, или Робинсоном, – но она будет мучиться, пытаясь припомнить: «Ах, боже мой, боже мой! – восклицает она бесконечное число раз. – Я так хорошо помнила его имя. Какая же я глупая!» Она расскажет вам, почему должна помнить его имя, как всегда помнила его до последней минуты. Она обращается с просьбой к половине присутствующих, прося помочь ей. Безнадежно пытается вернуть ее к рассказу: ее умом всецело овладевает одна мысль. Наконец, после бесконечных мучений, она вспоминает, что его звали Томкинс, и приходит в восторг, но затем снова погружается в отчаяние, открыв для себя что забыла его адрес. Это заставляет ее настолько сконфузиться, что она отказывается от продолжения рассказа и, упрекая себя, уходит к себе в комнату. Чуть погодя она снова возвращается с пеной у рта и приносит номер улицы и дома. Но тем временем она уж забыла анекдот.

– Расскажите же нам о вашей старушке, и о том, что вы сказали ей, – с нетерпением проговорила студентка, всегда подхватывающая всякий рассказ, где дело касается глупости или преступных наклонностей другого пола.

– Я была в таких годах, когда молодой девушке приедаются сказки, и она, отложив в сторону книги, начинает осматриваться в свете и, конечно, возмущается тем, что видит. Я относилась очень серьезно к недостаткам и проступкам мужчин – наших естественных врагов. Моя старушка, бывало, посмеивалась, и я считала ее ограниченной и недалекой. Однажды наша горничная – любительница, как все горничные, посплетничать, – с восторгом рассказала нам историю, доказавшую мне, как верно я оценивала «грубых мужчин». Хозяин лавочки на углу нашей улицы, всего четыре года тому назад женившийся на прелестной девушке, бежал, бросив ее.

«Хоть бы когда прежде намекнул, – рассказывала Жанна. – За целую неделю уложил в кофр свои вещи и платье и отправил на вокзал, а потом сказал жене, что уходит сыграть партию в домино и чтоб она не дожидалась его; поцеловал ее и ребенка на прощанье, и поминай как звали. «Ну, слыхано ли, барыня, что-нибудь подобное?» – заключила Жанна, всплеснув руками. «Грустно сказать, Жанна, а приходится признаться, что я слыхала», – ответила моя старушка со вздохом и затем постепенно перевела разговор на вопрос об обеде. Когда Жанна вышла, я обратилась к ней, вся пылая негодованием. Мне не раз приходилось самой разговаривать с этим человеком, и я считала его прекрасным мужем – внимательным, так гордившимся, по-видимому, своей миловидной супругой.

«Не служит ли это доказательством того, что я говорю!» – воскликнула я. «К несчастью, случившееся не в их пользу». – «А между тем вы защищаете их?» – спросила я. «В мои годы, дорогая, не защищают и не порицают, а только пытаются понять, – сказала она, прикоснувшись ко мне своей тонкой белой рукой. – Не разузнать ли нам подробнее, в чем дело, – предложила она, – происшествие невеселое, но может оказаться полезным для нас». – «С меня довольно

и того, что я слышала», – сказала я. «Иной раз хорошо выслушать более подробный рассказ, прежде чем составить себе окончательное суждение», – ответила она и позвонила Жанне. – «Эта история с нашей соседкой заинтересовала меня, – сказала она. – Вы знаете, почему он бежал и бросил ее?» Жанна пожала своими широкими плечами. «Старая история, сударыня», – ответила она с коротким смешком. «Кто же?» – спросила хозяйка. «Жена Савари, точильщика, прекрасного мужа. Канитель тянулась несколько месяцев». – «Спасибо, Жанна». Когда Жанна вышла, хозяйка обратилась ко мне, говоря: «Каждый раз, как я слышу о дурном поступке мужчины, я заглядываю за угол – не скрывается ли там женщина. Когда я вижу плохую женщину, я слежу за ее глазами. Я вижу, что она ищет себе товарища. Природа всегда создает пары».

– Не могу отказаться от мысли, что много зла приносит человечеству вообще слишком большое восхваление женщины, – заметил философ.

– Кто же их восхваляет? – спросила студентка. – Мужчины иногда болтают нам глупости – вряд ли найдется такая простушка, чтоб поверить им, – но я вполне убеждена, что наедине они перемывают нам косточки.

– А я так думаю, что они вряд ли говорят между собой о нас так много, как мы воображаем. Но вообще неблагоразумно добиваться узнать, какой приговор вынесли тебе, – заметила старая дева, – несколько очень хороших вещей о женщине было высказано мужчинами.

– Вот тут налицо их трое; спросите их, – предложила студентка.

– Скажите по чести, когда вы говорите между собой о нас, вы когда-нибудь обмолвитесь о нашей доброте, уме, добросовестности?

– «Обмолвиться» – вряд ли подходящее слово, – заявил философ задумчиво. – Говоря положив руку на сердце, приходится сознаться, что наша собеседница до известной степени права. Каждый человек в какой-либо период своей жизни ставит на пьедестал какую-нибудь женщину. Очень молодые, неопытные люди восхищаются, может быть, не отдавая себе отчета. Для них всякая шляпка привлекательна – модистка создает ангела. А очень старые люди, как я слышал, возвращаются к иллюзиям своей молодости. Об этом я еще не в состоянии рассуждать безапелляционно. Что же касается нас, остальных, то я принужден согласиться: «обмолвиться» – неподходящее слово.

– Вот и я говорю... – начала студентка.

– Может быть, это просто в силу реакции, – сказал я. – Приличия требуют, чтобы мы в лицо выказывали женщине несколько преувеличенное уважение. Мы должны даже в ее сумасбродствах видеть лишь притягательную силу, – так решили господа поэты. Может быть, является некоторым облегчением передвинуть стрелку в обратном направлении.

– Но не факт ли, что именно лучшие люди и даже самые умные всегда относились к женщине с наибольшим уважением? – заметила старая дева. – Разве мы не судим о цивилизации народа по тому месту, которое у него занимают женщины?

– В такой же степени, в какой судим по мягкости законов, по охране, представляемой слабым. Дикари убивали бесполезных членов племени, – мы устраиваем для них больницы и приюты. Отношение мужчины к женщине показывает, насколько он сам победил свой эгоизм, как далеко он отошел от обезьяньего закона: «Сила – право».

– Прошу вас, не перетолковывайте моих слов, – взмолился философ, нервно поглядывая на нахмурившиеся бровки студентки. – Я никогда не утверждал, чтобы женщина не была равной мужчине; я убежден, что она равна. Я только утверждаю, что она стоит не выше его. Умный человек почитает женщину как друга, сотрудницу, свое дополнение. Только дурак отказывает ей в человеческих правах.

– Но разве мы не стоим выше по нашим идеалам? – настаивала на своем старая дева. – Я не говорю, чтоб мы, женщины, были совершенствами – пожалуйста, не думайте этого. Вы замечаете наши недостатки не хуже нас самих. Прочтите женщин-писательниц, начиная с Джордж

Эллиот. Но ради вас самих – разве не лучше, когда мужчине есть на что поднять глаза, как на нечто высшее?..

– Между идеалом и очарованием большая разница, – отвечал философ. – Идеал всегда помогал человеку; но это принадлежит области мечтаний, самой важной для него области – области его будущего. Очарование – земного происхождения; оно в свое время поражает каждого мужчину, ослепляя его. Страна, где управляли женщины, всегда дорого платила за свое безумие.

– А Елизавета! А Виктория! – воскликнула студентка.

– Они были идеальными правительницами потому, что предоставляли управление страной способным людям. Но Франция при ее Помпадур!.. Византия при ее Феодорах – более подходящие примеры для моей теории. Я только говорю о том, как неблагоприятно видеть во всех женщинах совершенство. Велизарий погубил и себя и свой народ тем, что считал собственную жену честной женщиной.

– Но рыцарство, без сомнения, оказало услуги человечеству, – вставил я.

– Даже в широких размерах, – согласился философ. – Оно воспользовалось человеческой страстью и обратило ее на благие цели. В свое время это имело значение. Для человека, знавшего только войну и хищничество, воспитанного в жестокости и несправедливости, женщина была единственным существом, научавшим его радости делать уступки. Женщина в те времена была ангелом по сравнению с мужчиной! Это не пустые слова. Все более мягкие проявления жизни сосредоточивались в ее руках. Мужчина проводил жизнь в войне или разгуле. Женщина ухаживала за больными, утешала горюющих, шла незапятнанная среди мира, омраченного пороками. Самая ее покорность духовенству, природная способность восхищаться церемонией – теперь факторы, суживающие ее благотворное влияние, – в то время должны были окружать ее перед его затуманенным взглядом, приученным смотреть на догмат как на душу религии, ореолом святости. Женщина была тогда служанкой. Естественно, что она старалась возбудить сострадание и нежность в мужчине. Теперь она сделалась повелительницей мира. Теперь смягчать мужчину – вовсе не ее миссия. В наше время женщина ведет войну; женщина возвеличивает грубую силу.

Теперь женщина, сама счастливая, глуха к страдальческому стону мира; она высоко ставит человека, пренебрегающего интересами своего вида ради увеличения удобств своей личной семьи, и презирает как плохого отца и мужа человека, чье чувство долга простирается за пределы его семейного очага. Вспомните упрек, сделанный леди Нельсон мужу после битвы на Ниле. «Я женился, и поэтому не могу прийти» – вот слова, которые очень многие женщины подсказывают мужьям в ответ на призыв со стороны Бога. Недавно мне пришлось говорить с одной женщиной о жестокости по отношению к котикам, с которых заживо сдирают шкуру. «Мне жаль бедных зверьков, – ответила она, – но, говорят, мех от этого приобретает более темный оттенок». Правда, ее жакет был из великолепного меха.

– Когда я издавал газету, я открыл особый отдел переписки на эту тему, – сказал я. – Мы получали массу писем – большинство заурядных, даже глупых. Но попало одно оригинальное. Оно было написано девушкой-продавщицей в большой модной мастерской. Она далеко не разделяла взгляда, чтобы все женщины и во все времена представляли из себя совершенство. Она советовала романистам и поэтам поступить на год в большое модное дело: тут они бы получили возможность изучить женщину, так сказать, в ее натуральном виде.

– Не следует судить нас по тому, что, сознаюсь, составляет нашу главную слабость, – сказала светская дама. – Женщина, занятая только своим туалетом, перестает быть человеческой – она возвращается к первобытному животному состоянию. Но, правду сказать, и портнихи могут иногда вывести из себя. Вина не вполне на одной стороне.

– Вы меня так и не убедили, что женщину ценят выше ее достоинства, – заметила студентка. – Даже и наш разговор пока не доказал ваших положений.

– Я не утверждаю, чтобы выдающиеся писатели проводили этот взгляд, но в популярной литературе он продолжает существовать. Ни один мужчина не станет оспаривать его в глаза женщине, и женщина – в ущерб себе – признала такой взгляд непреложным. Это понятие впиталось в более или менее разнообразной форме ее сознанием, исключая возможность исправления. Девушку не побуждают задать себе весьма полезный вопрос: «Выйдет ли из меня здоровый, полезный член общества? Или я подвергнусь опасности выродиться в пустую, эгоистичную, никому не нужную особу?»

Она вполне довольна собой, пока не открывает в себе наклонностей к мужским порокам, забывая, что есть и женские пороки. Женщина – балованное дитя нашего века. Никто не указывает ей на ее недостатки. Свет с его тысячью пороками льстит ей.

Каприз, ослиное упрямство именуются «милыми причудами» хорошенькой девушки. Трусость, одинаково презренная в мужчине и женщине, поощряется в ней, как очаровательное свойство.

Неспособность взять в руки дорожный мешок и пройти с ним через сквер или обогнуть угол – выставляется привлекательностью. Неестественное невежество и непроходимая глупость дают ей право считаться поэтически идеальной. Если ей случится дать пенни нищему на улице – причем обыкновенно ее выбор падает на обманщика – или поцеловать щенка в нос, – мы истощаем весь свой хвалебный лексикон, провозглашая ее святой. Я еще изумляюсь, каким образом, несмотря на все нелепости, какими женщины вскармливаются, из них выходит столько дельных.

Что же касается меня, то я нахожу большое утешение в убеждении, что разговор сам по себе несет менее ответственности во всем хорошем и дурном, что есть на свете, чем мы, говорящие, себе воображаем. Чтобы прорасти и принести плод, слова должны упасть на почву фактов.

– Но все же вы считаете справедливым бороться против глупости? – спросил философ.

– Без сомнения! – воскликнул поэт. – Тем мы и опознаем глупость, что можем убить ее. От истины наши стрелы отскакивают, не нанося ей вреда.

\* \* \*

– Но почему она поступила так? – спросила старая дева.

– Почему? Мне кажется, вряд ли какая-нибудь из них знает, почему поступает так или иначе, – сказала светская дама, выказывая признаки досады, что вообще с ней случилось редко. – Говорит, что у нее недостаточно работы.

– Должно быть, она совершенно необыкновенная женщина, – заметила старая дева.

– Сколько на мою долю выпало хлопот благодаря ей, только из-за того, что Джорджу нравится, как она готовит, и сказать не могу, – продолжала светская дама с негодованием. – В последние годы у нас бывали небольшие обеды раз в неделю, только ради ее удовольствия. Теперь она желает, чтоб я давала два обеда. А я вовсе не намерена этого делать.

– Если я могу предложить свои услуги... – начал поэт. – Мой желудок, конечно, не тот, что был прежде, но могу служить в качестве ценителя... Я бы не отказался разделить с вами утонченную трапезу дважды в неделю – скажем, в среду и субботу. Если вы думаете, что удовлетворите ее этим...

– Очень любезно с вашей стороны, – отвечала светская дама. – Но я не могу допустить этого. Почему вам отказываться от незатейливого обеда, приличного поэту, только ради того, чтобы угодить моей кухарке!

– Я при этом имел в виду больше вас, – продолжал поэт.

– Мне просто хочется совсем бросить хозяйство и перебраться в отель, – сказала светская дама. – Хотя это и не по мне, но прислуга становится положительно невозможной.

– Это весьма интересно, – заметил поэт.

– Очень рада, что вы это находите, – не без колкости ответила хозяйка.

– Что, интересно? – спросил я у поэта.

– Что все в наш век, все, хотя медленно, но упорно клонится к устройству жизни на таких началах, один намек на которые мы несколько лет тому назад назвали бы социализмом. Повсюду увеличивается число отелей, а число частных домов уменьшается.

– Что же тут удивительного? – возразила светская дама. – Вы, мужчины, говорите о «радостях семейного очага». Некоторые пишут на эту тему стихотворения, но большинство из вас, живя в меблированных комнатах, проводят чуть не весь день в клубе.

Мы сидели в саду; поэт погрузился в созерцание солнечного заката. Хозяйка продолжала:

– Вот муж и жена сидят у камина. Муж уселся поудобнее и не замечает, как жена вышла из комнаты: она же отправилась за объяснением, почему в корзине для угля в гостиной всегда только один сор, а лучший уголь сжигается в кухне? Дом для нас, женщин, – место работы, от которой не уйдешь.

– Мне кажется... – начала студентка, говоря на этот раз, к моему удивлению, без негодования.

Вообще студентка разделяет так называемое «божественное неудовольствие» всем вообще. Со временем она справится с удивлением, что мир не такое приятное место пребывания, каким ей его рисовали, и откажется от своего теперешнего твердого убеждения, что предоставьте ей свободу действия, она все переустроила бы в четверть часа. И теперь по временам в ее тоне уже слышится меньше уверенности в том, что она не первая, серьезно задумавшаяся над этим вопросом.

– Мне кажется, – начала она, – причина тому – воспитание. Наши бабушки были довольны, наполняя свою жизнь мелочными хозяйственными хлопотами. Они вставали рано, работали со служанками, сами за всем присматривали. Теперь мы нуждаемся во времени для саморазвития, для чтения, для размышления, для удовольствия. Домашние работы не только не составляют цели нашего существования, но служат ему помехой. Мы досаждаем на это.

– В теперешнем возмущении женщины историки будущего увидят главный фактор нашего общественного развития, – продолжал поэт. – «Домашний очаг», который мы до сих пор восхваляем, но с возрастающей неохотой, зависел от ее согласия жить, в сущности, рабыней.

Когда Адам пахал, а Ева пряла, причем Адам не выходил за пределы своей ограды, а Ева останавливала колесо своей прялки, когда ее запас был достаточен для семьи, тогда «домашний очаг» покоился на твердом основании существующего факта. Оно поколебалось, когда муж сделался гражданином и его интересы распространились за пределы домашнего круга. С той минуты женщине одной пришлось поддерживать это учреждение. Теперь она, в свою очередь, требует права вступить в общественную жизнь, вырваться из одиночества, в котором она пребывает в замке своего возлюбленного.

«Дворцы» с общими столовыми, читальнями, системой общей услуги вырастают в каждом квартале; особняки, виллы исчезают. Та же история повторяется во всех странах. Отдельное жилище, где оно еще сохранилось, поглощается целой системой жилищ. В Америке – лаборатории, где производятся опыты по всем отраслям жизни, какой она сделается в будущем – дома отапливаются одной общей топкой. Вы не зажигаете огня – только впускаете теплый воздух. Ваш обед привозят вам в перевозной печи. Вы абонируетесь на слугу или служанку. Очень скоро частные хозяйства с их штатом беспорядочной, вечно ссорящейся прислуги, с массой потребностей, неудовлетворенных или чрезмерных, исчезнут так же, как исчезли пещерные жилища.

– Желала бы прожить еще столько, чтоб увидеть все это, – сказала светская дама.

– Вероятнее всего, доживете, – сказал поэт. – Мне хотелось бы иметь возможность с такой же уверенностью сказать это про себя.

– Если ваше предположение имеет шансы на исполнение, то я утешаю себя мыслью, что я старший из партии. Я никогда не читаю эти полные и обстоятельные описания жизни будущего столетия, не предаваясь размышлению, что прежде чем все это осуществится, я умру и буду похоронен. Может быть, это эгоизм с моей стороны, но мне кажется, я не был бы в состоянии жить такой машинной жизнью, какую предсказывают наши провидцы.

Мне кажется, вы, то есть большинство из вас, упускаете из виду очень важное соображение – именно, что человечество живет. Вы вырабатываете свои ответы, будто оно представляет из себя искомое в тройном правиле. Если человек в столько-то тысяч лет сделал столько-то в таком-то направлении при такой-то и такой-то скорости, сколько он сделает и т. д. Вы забываете, что на него влияют импульсы, не поддающиеся никакому вычислению, что его увлекают направо и налево силы, которых вам невозможно изобразить в своей алгебре. В одно поколение христианство превратило республику Платона в абсурд. Пресса покончила с неразрешимыми выводами Макиавелли.

– Нет, я не согласен с вами, – сказал поэт.

– Факт не убеждает меня в ошибке, – возразил философ.

– Христианство только прибавило силы стремлениям, зачатки которых уже таились в племени, еще находившемся в младенчестве. Пресса, научая нас думать сообща с другими, в некотором роде сузила цели индивида в противопоставлении целям человечества. Оглянитесь без предвзвешенности, беспристрастно на прошлое человечества. Какая картина вам представится? Сначала вы увидите разбросанные по дикой, мертвой пустыне норы и пещеры; затем грубо сколоченные хижины, вигвамы – первобытные жилища первобытного человека. Одинок в сопровождении своей подруги и потомства он бродит по высокой траве, постоянно озираясь зорким пугливым взглядом; он удовлетворяет свои несложные потребности, сообщает с помощью немногочисленных жестов и звуков свой незначительный запас знаний своему потомству; затем, забравшись за какой-нибудь камень или в скрытое местечко, джунгли, умирает там. Оглядываемся снова. Тысячи столетий промчались и исчезли без следа. Поверхность земли испещрена странными, неровными следами: здесь, где солнце сияет над сушей и морем, они теснятся друг к другу, почти соприкасаются; там, в тени, расстояние между ними больше. Образовалось племя. И масса то двигается вперед, то останавливается, то подается назад, повинаясь общему импульсу. Человек узнал тайну сплочения, взаимной помощи. Воздвигаются города. Из их каменного центра распространяется сила; возникает нация; цивилизация порождается досугом; жизнь человека уже не сводится исключительно к животным потребностям. Соплеменники защищают художника, мыслителя. Сократ думает, Фидий ваяет мрамор, между тем как Перикл создает закон, а Леонид обуздывает варваров. Империя поглощает мелкие государства. Россия протягивает руку через всю Азию. В Лондоне мы пьем за здоровье союза народов, говорящих на английском языке; в Берлине и Вене устраиваем празднества в честь общегерманского союза; в Париже шепчемся об общности латинской расы. Как в великом, так и в малом. Склады обширные, универсальные магазины вытесняют мелких торговцев; трест сплачивает сотни фирм; союз говорит от имени рабочих. Границы наши или языка кажутся тесными для новых понятий. Пусть на бизань-мачте разных судов развеваются какие угодно клочки пестрой ткани, – германские, американские, русские флаги, – человечеству есть дело только до капитана этих судов. Сто пятьдесят лет тому назад Сэм Джонсон дожидался в передней издателя; теперь все наперерыв приглашают его к чайному столу и слушают, что он процедит им сквозь зубы. Поэт, новеллист говорит на двадцати языках. В будущем дороги пролягут прямехонько от одного полюса до другого. Надо быть слепым, чтобы не видеть, к какой цели мы стремимся. Она отстоит от нас на одно или два поколения. Это громко жужжащий улей

– один общий улей, охватывающий весь земной шар. Пчелы существовали до нас; они разрешили загадку, ответа на которую мы допытываемся впотьмах. Старая дева содрогнулась.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.